Издательство
СВИНЬИН и СЫНОВЬЯ
Геннадий ПРАШКЕВИЧ
НОСОРУКИЙ

Геннадий Мартович Прашкевич

Тайна подземного зверя

предоставлено автором
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=168440

Аннотация

И опять гул истории… Эта книга – тематическое продолжение романа Геннадия Прашкевича «Секретный дьяк». Первая половина XVII века. Сначала русские казаки по приказу царя Алексея Михайловича в тундре на Индигирке ищут живого мамонта. В «Тайне полярного князца» знаменитый землепроходец Семен Дежнев устраивает жизнь на новой реке Погыче. И снова – малоизвестные события, и снова невероятное ощущение погружения в историческое время, изложенное в книге Геннадия Прашкевича.»Вы один из немногих, кто ныне умеет писать настоящие исторические романы», – писал Борис Стругацкий автору. Это, действительно так, не будем спорить… Будем читать.

Содержание

Глава I. Стрела в снегу 4
Глава II. Первая смерть 21
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Геннадий Прашкевич
Тайна подземного зверя
Историко-авантюрный роман

Глава I. Стрела в снегу

НАКАЗНАЯ ПАМЯТЬ ВОЕВОДЫ ЯКУТСКОГО ВАСИЛИЯ НИКИТИЧА ПУШКИНА КАЗАКАМ, ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ НА РЕКУ БОЛЬШУЮ СОБАЧЬЮ

Лета 7155-го в 5-й день по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, також по приказу воевод Василия Никитича Пушкина да Кирила Осиповича Супонева да диака Петра Стеншина наказная память сыну боярскому Вторко Катаеву да служилому человеку кормщику Гераське Цандину со товарыщи дана.

Итить ему, сыну боярскому Вторко Катаеву, из Якуцкого острога до Большой собачьей реки. И там, место выбрав, ставить с великим радением дальнее зимовье для розыску и приводу под государеву высокую руку тамошних юкагирех неясашных, род рожи писаные. И жить в том острожке с великим бережением, блядни не разводить, в день и в ночь в воротах караулы ставить, чтоб рожи писаные, пришед, дурна никакова не сделали. А сыну боярскому Вторко Катаеву искать по сендушным землицам зверя большого носорукого, в котором месте пристойнее и где доведетца.

И буде сыщетца и обьявитца тот зверь, имать зверя.

А поставив зимовье и зверя сыскав, тотчас нарошно от себя отпустить человека в Якуцкий острог, ково доведется. А с ним про все доподлинно отписать: в которую он, сын боярский Вторко Катаев, землицу пришел, и кто у него вож, и сколько людей служилых и промышленных, и какие в той новой землице людишки, и много ли их, и почему всякие их родимцы не платят государеву ясаку?

А получив весть от сына боярского, служилому человеку кормщику Гераське Цандину со товарыщи брать большой коч или в каких судах мочно поднятца на Большую собачью. В том коче или на тех судах ехать до зимовья, поставленного сыном боярским. Попутно смотреть, какие у тое реки берега, и есть ли на них какие выметы, и есть ли какие угожие места и лес, который бы к судовому и ко всякому другому делу пригодился? Или горы, да буде горы? И какие горы: каменные ли, высокие ли? И какова в тое реке вода, и мечет ли из себя на берег какой зверь?

А сыскав зимовье, поставленное сыном боярским Вторко Катаевым, служилому человеку кормщику Гераське Цандину взять на коч людишек и зверя носорукого, у него рука на носу, и коч проводить в Якуцк незамедлительно и с великим бережением.

И того им, сыну боярскому Вторко Катаеву и служилому человеку кормщику Гераське Цандину, смотреть и беречь накрепко, чтоб на зимовье

и на судах пива и браги и воровства не было, и зернью бы служилые люди не играли и государева жалованья и казенных пищалей, и казенного платья с себя не проигрывали. И самим напрасно налоги не чинить и для своей бездельной корысти ни в чем к служилым и к промышленным людям не приметыватца, и всяких кругов, и бунтов, и особинных одиначеств нигде не заводить, чтобы ни в чем от тех шаткостей порухи государеву делу не было.

А буде они, сын боярский Вторко Катаев да служилый человек кормщик Гераська Цандин, учнут делать по изменничью, и зверя того, у коего рука на носу, не сыщут и не доставят в Якуцк в добром здравии, быть им обоим по государеву указу в жестоком наказании без пощады.

Ущелья, лед на перевалах, замороженные леса.

Казаки шли и шли, верста за верстой, теряли счет пройденному.

Были ущелья, где по стенам нависало снегу так, что боялись говорить даже шепотом. Большое преступление говорить громко в таких страшных местах, даже собак кликать. Бежали молча, подталкивая олешков, придерживая собак. Были перевалы, где уже сил недоставало – все равно шли. А где, например, выпадал такой снег, что собачью ногу напрочь отнимало.

Людей ни разу не встретили.

Не встретили и животных, Наверное, навсегда ушли.

А все равно Христофор Шохин, вожатый, опытный проводник, вож, как называли его, нанятый сыном боярским Вторко Катаевым в Илимском остроге, вел казаков уверенно, будто случалось ему бывать в здешних местах.

Но не бывал. Просто характер уверенный.

Сам побит оспой, хмур. Прятал под меховой капор бугристую, вбок сдвинутую кожу лица (медведь, дед сендушный босоногий лапой пометил, так и заросло). Часто моргал, страшно подергивал некрасивым, сильно вывернутым, всегда красным веком, чесал пятерней бороду. Всего-то – вож, нанятый на казенные деньги, а держался особенно. Гордо, будто шел передовщиком.

Под повизгиванье собачек, под мэканье олешков скатывались на лед замерзшей реки. Лед обдут, прозрачен. Под зеленью, как под слоем мутного стекла, стремительно проносятся длинные белые пузыри – как во сне, волшебно, без звука. На крутых склонах с силой запружали нарты приколами – крепкими палками, вырезанными из березы. Для верности торможения подвязывали за нартами свободных олешков.

Олешки понимали. Важно колыхали коричневые бока. Несли над собой, как короны, подрезанные, чтобы не путаться, рога.

Вдруг падало эхо, неизвестно где родившееся.

Казаки вздрагивали.

Аргиш сбивался.

Один глупый олешек задней ногой вступал в дугу барана, другой тыкался в спину бегущего впереди человека. Летели на снег сумы, в которых везли припас: юколу для собак, муку для людей, железные ножи-палемки для дикующих, рож писаных. Для них же, писаных, железные топоры, котлы медные, да одекуй, бисер синий.

Шли.

В мороз над аргишем, как туман, вставал пар от дыхания.

Чуть недосмотришь – один олешек завьет постромки, другой, глянув на такое, встревожится. Собачки, те поспокойнее. Собачки любят человека и тянут нарту со всем терпе-

нием. И выдастся отдых, снег не ковыряют. Падают и, поскуливая, выкусывают из-под когтей остренькие ледышки.

Степан Свешников, новый передовщик, ни на час не сбавлял хода, заданного раньше сыном боярским.

Широкоплеч, бородат. Глаза голубые.

Те, кто знали Свешникова по Якуцку, сомнений в нем не испытывали, но даже и они втайне дивились, никак не могли понять: ну, почему все-таки предовщиком сын боярский Вторко Катаев поставил именно Свешникова, а не Федьку, скажем, Кафтанова, человека, сыну боярскому близкого?

Вслух несогласие с выбором выказал только вож.

Но Свешников оказался терпелив, с вожем не спорил.

Помнил, помнил странного думного дьяка, прибывшего в Якуцк из Москвы. Стоял в памяти тот дьяк. В самой тайной стороне памяти. Тихий, именем не назвался, никуда и не выходил, но принимал гостя сам воевода Пушкин, потому все безоговорочно клонили перед дьяком головы. Вызвал Свешникова в пустую приказную избу (будто специально всех куда отослали), зажал тяжелую палку между коленей, смотрел долго. Весь заволосаченный. Волосы падают даже на глаза, бородища тугая. Совсем сумрачный, себе на уме дьяк. И спросил сумрачно:

«Готов служить?»

«К тому призваны».

«Я не о той… Я о другой службе…»

Долго смотрел. Все так же сумрачно:

«Боярину Львову Григорию Тимофеевичу… Готов служить?»

«Жив? Как нашел?» – задохнулся Свешников.

«Григорий Тимофеевич далеко зрит. По всей Сибири имеет глаза, сам просматривает списки новоприбылых. – Дьяк сумрачно покачал головой. – Ты за собой след оставил, могу посадить в колодки. Но пришел не за этим…»

«Да чем служить?»

«Терпением, тщанием, – подсказал дьяк. – Боярин Львов как Аптекарский приказ возглавил, так сразу сказал искать тебя. Не верил, что с рваными ноздрями лежишь в земле. – Как бы подвел итог: – Прав оказался».

И выпучился на Свешникова, поскреб бороду, будто мухи в ней:

«Явится к тебе человек, назовется Римантас».

«Какое нехорошее имя», – перекрестился Свешников.

«Литовское, – перекрестился и дьяк. – Но ты не бойся. Это имя для тебя – знак».

«Да где ж он подойдет? Я год, может, буду в пустой сендухе. Там и русских нет».

«Не знаю, – сумрачно сказал дьяк. – Твое дело помнить. Завтра или через год, но явится некий человек, назовется литовским именем. Помянет гуся бернакельского. Чтобы ты его с каким другим случайным Римантасом не спутал».

Когда сказал про гуся, Свешников понял: тайный дьяк действительно послан добрым барином Григорием Тимофеевичем.

«Запомнишь?»

«А то!»

«Явится, такому человеку доверяй».

«Раз надо, буду, – положил крест Свешников. – Только где встречу такого?»

«Судьба покажет».

«И в чем верить ему?»

«Во всем, – не совсем понятно объяснил дьяк. – Скажет вернуться в Якуцк – вернешься. Скажет кого убить – убьешь. То, что сделаешь, перемены в Москве произведет».

И не сказал больше ничего.

Шли.

Безлюдье, глушь, дыхание заходится от мороза.

На каждой стоянке вож моргал красным веком, заставлял выставлять караулы. Свешников не перечил. Помнил строгий царев наказ: «Жить с великим бережением».

В темной ночи сворачивали, скрипя полозьями нарт, к рощицам черных ондуш, ставили островерхие чумы-урасы, крытые ровдугой – коричневыми шкурами олешков, выделанными в замшу. Такое покрытие не мокнет под дождем, не ломается зимой на холоде. Рубили сухие ветки. Тихий призрачный дым вставал над дымовыми отверстиями каждой урасы. Перекусив, заворачивались в заячьи одеяла. Втайне надеялись, что сегодня вож забудет. Но он не забывал:

«В караул!»

А от кого караул? Зачем?

Конечно, ворчали.

Утром, обирая иней с мохнатых ртов, сердито подманивали олешков:

– Мэк, мэк, мэк!

Варили болтушку, вставали на лыжи -

Шли.

Было казаков – десять.

Сперва – больше. Но на Чаинских пустошах в горелых зимних лесах тайно отстали от аргиша Гаврилка Фролов да с ним Пашка Лаврентьев. Отстали не просто так, отстали воровски, хитро – с нартой, с казенной пищалью, с нужным припасом. Специально хотели, видать, отстать. Сын боярский только сплюнул сквозь седые усы. Быть беглецам в жестоком наказании без пощады!

Казаки переглядывались. Быть-то быть, но землица пуста. Заворовавшие Гаврилка да Пашка вовремя спохватились. До Москвы из здешних мест хорошего ходу – года три. До Якуцкого острога меньше, но все равно в глуши, сквозь холод, тьму. А на пути – племя писаных рож. Про них говорили – людей ядят!

А еще вдруг сдал сын боярский.

Перед последним острожком по названию Пустой (за ним – полная неизвестность, не ходил никто) окончательно занемог. Вож Шохин, угрюмо и страшно помаргивая вывернутым красным веком, вырезал для Вторко Катаева клюку из лиственничного корня.

Но поход не богомолье, с клюкой далеко не уйдешь.

В острожке Пустом сын боярский да вож шептались до утра.

Казаки храпят, несвежим дыханием колеблют слабый свет лампадки, а из тьмы (Свешников неподалеку лежал) шепоток:

«Неужто правда?.».

«Слово в слово… И особенный человек… Фиск нынче везде, потому и следы скрывай…»

«А воевода?.».

«Он помнит…»

Непонятно, о чем шептались.

Правда, Свешников сильно и не прислушивался. Лежал, думал: вот почему так странно говорил московский дьяк в Якуцке? «Скажет вернуться в Якуцк – вернешься. Скажет кого убить – убьешь. То, что сделаешь, перемены в Москве произведет».

А какие перемены?

Откуда в пустых местах взяться человеку с литовским именем?

И воеводский наказ не прост. Можно сказать, даже неслыханный. Пойти к Большой собачьей реке и поймать зверя носорукого, у него рука на носу. Поймать и сплавить кочем до моря, а по Лене до Якуцка. А дальше – сообразим.

Потрескивала лампадка.

Ночь. Только в углу зимовья глухой шепоток.

Наверное, о чем-то важном договорились той ночью заскорбевший ногами сын боярский Вторко Катаев и страшно помаргивающий вывороченным веком вож. А может, наоборот, не договорились. Но утром сын боярский сообщил:

«Не в мочь мне дальше идти. Клюка в таком пути не поможет. Теперь передовщиком встанет Свешников».

Услышав такое, Федька Кафтанов просто оторопел. Остро глянул на близких дружков – Косого да Ларьку Трофимова. Дескать, понятно, что государевых людей должен вести в сендуху государев же человек, но все равно: почему это Свешников? Чем он лучше других? Или сильно грамотен? Да Ганька Питухин обойдет его по лыжне, а Елфимка Спиридонов, сын попов, куда грамотнее.

Сын боярский нехорошо насупился, и Кафтанов отвел глаза.

Так и осталось неизвестным, о чем шептались в ночи вож и сын боярский. Наверное, остались недовольными. А отряд повел Свешников. Не найдут зверя, знали, ему отвечать.

Это утешало даже Кафтанова.

Шли.

Гольцы – ледяные.

Дух спирало от высоты.

Нескончаемой ночью, пугая, вспыхивало небо.

Взвивались с полночи, с севера, зеленые, голубые, фиолетовые стрелы, всегда оперенные незнакомо. С безумной скоростью неслись вверх, разворачивались в лучи. От цветных стрел и лучей отпадали и гасли в полете смутные пятна, тоже разных цветов. Глядя на это, вож поднимал к небу страшное, искалеченное медведем лицо:

– Юкагыр уотта убайер.

То есть, шалят рожи писаные! Разжигают в ночи костры!

Все валил на дикующих. Как бы побаивался. А все равно указывал под безумные сполохи.

Свешников присматривался. Многое хотел понять.

Вот вож Христофор Шохин – молчун. Часто молчит, а если говорит, то грубо. В пути дерзил даже передовщику. При этом все знали, что сын боярский Вторко Катаев, подыскивая проводника, почему-то одного за другим отверг трех опытных вожей, дождался Шохина. Среди отвергнутых оказался Илька Никулин, водивший в сендуху самого Постника Иванова – енисейского казака, распространившего русский край на реки Яну и Большую собачью. И два других вожа были опытные. А все равно сын боярский дождался Шохина.

По слабому следу, продавленному медведем – дедом сендушным босоногим, Христофор Шохин сразу определял: сердит или так гуляет; по размашке шага указывал – торопится зверь или некуда ему спешить. Видел тайное, укрытое от человеческих глаз. Но вот странно, странно: мимо срубленной ондушки, северной лиственницы, точнее, мимо ее черного высокого пенька, торчащего из сугроба, прошел, будто ничего не увидел.

А не увидеть нельзя. Та ондушка *ссечена*, ее не сломали. На косом срезе даже шапочка снега не удержалась.

– Смотри, Христофор, – не выдержал, остановил вожа Свешников. – Ведь топором ссечена?

Вправду дивился. О племени писаных рож известно – дики. У них ножи-палемки, топоры из камня, из реберной кости. А тут железо.

– Мало ли…

Дразнился вож.

Показывал: хоть ты передовщик, веду казаков я.

Свешников обиду проглотил. Не до обид: край чужой, дальный. Никак без одиначества нельзя. Но все равно постоял, как бы отдыхая. И внимательно следил: кто и как проходит мимо того пенька?

Гришка Лоскут, скуластый, здоровый, ноздри вывернуты наружу, прошел, дыша, ссеченной ондушки не заметил. Торопился в голову аргиша – его очередь с Ларькой тропу топтать. За Гришкой размашисто прошел заиндевелый Ганька Питухин. За ним цыганистый Митька Михайлов, Ерило по прозвищу.

А русобородый Федька Кафтанов, кажется, заприметил странный пенек. Даже кивнул идущему за спиной Косому, как бы с тайным значением. Рядом бежал подслеповатый Микуня, но он, если бы и захотел, ничего не заметил. Есть след лыжный, он по нему и шел.

Микуню Свешников жалел.

Человек ростом с собаку не может рассчитывать на успех.

В якуцких царских кружалах Микуня пропивался до нательного, до дрожи. В драках непременно получал увечья. А то в сендухе брал морошку, вышел на него сендушный дед. Часа три ползал в сырости на коленях перед босоногим, пел песни, сыпал поговорками и прибаутками – ублажал, как мог. Сендушный дед от удовольствия взрыкивал, вставал на дыбы, ласково обходил Микуню по кругу, лапой не бил и когтем не когтил, – слушал.

В младых летах, в Смутное время, гулящий Микуня, было, пристал к воровским дружинам, шедшим из Путивля на Москву. Видел совсем близко от себя Болотникова – крестьянского царя. Знал, что Иван Исаевич прошел через многие тягости, например, через татарский плен, турецкую каторгу. Греб на галерах басурман, скучал по русскому. Микуня радовался: вот всем миром сажаем теперь на престол совсем своего царя. Правда, никак не мог понять: зачем простодушный крестьянский царь верит лукавому князю Шаховскому? – у того ведь своя, *дворянская* смута. И почему рядом с крестьянским царем идет Прокофий Ляпунов – жестокий боярин?

Из села Коломенского нес в Москву подметные письма.

На лесной дороге вышел прямо на конную группу. Все ладные, смотрят с жесточью. Впереди Ляпунов – осанистый, бородатый. Руки в боки: чего это несет среди дня так смело подлого мальчишку?

Приказал: смотреть! Но Микуня и сам показал.

Боярин письма прочел, выкатил злобные глаза. Как так? Холопи, мол, побивайте господ! Вот, мол, холопи, будут вам в награду жены господские, имена убитых, боярство, воеводство, вообще всякая честь! Да кто такое мог написать?

Побагровел от гнева:

«В батоги!»

Жестоко избитый, отлежался в сарае.

Без всякого удивления узнал, что позже тот жестокий боярин предательски оставил крестьянского царя Болотникова и перекинулся на сторону царя Василия. Опять же позже видел столбы, как дьявольскими плодами, густо обвешанные телами бунтовщиков. Задохнулся от ужаса: сам может попасть на любой! Так страшно ужаснулся, что бросился бежать далеко – в сторону Сибири.

И пошла всякая жизнь. Видел – напраслину, смерть, слезы. Бежал по стране ночами, таясь, как зверь. На севере промышлял зверя, даже стал потихоньку забывать о страшном взгляде боярина Прокофия Ляпунова. Но в шестнадцатом году случайно наткнулся на стрельцов, хорошо знавших Микуню со времен тушинского вора. Улещая недобрых стрельцов, отдал им все накопленное, бежал дальше.

Сильно бедствовал. Пристрастился к винцу. Варил на Каме густую соль.

А дело это не простое, тяжелое. Дров на варницу идет много. Черпаешь ведром соленую воду из глубоких колодцев, вливаешь в железные сосуды, варишь, дышишь, а ноги слабеют, руки дрожат, потихоньку уходит по капле жизнь.

Собравшись с силами, дал зарок никогда не брать в рот пагубного крепкого винца, может, вернуться тихо в Москву.

Как бы в ответ на зарок повернулась к Микуне удача. Приказали ему доставить государю Михаилу Федоровичу, первому Романову, десять сибирских соболей – живых, добрых, черных.

Сам понимал: удача.

Летел как на крыльях. Чечуйский волок одолел со товарыщи за полдня. Через каких-то три недели был уже в Туруханском. А в Мангазее напрямую дохнуло в лицо – языком, шумом, людьми. Правда, болота и реки в ту пору еще не промерзли – пошла мешкота в пути. Лишь под Обдорском потянуло настоящими холодами.

Вот там и утек ночью со стана самый большой, самый добрый соболь. Сам утек и чепь серебряную унес на груди.

Убоясь жестокого наказания без пощады, утек и Микуня. Погибал в совсем диких лесах. Прибивался к варнакам. В самом плохом костришном зипуне появился однажды в Якуцке. Хорошо, там всегда есть нужда в людях: поверстали Микуню Мочулина в простую пешую службу.

Тело усталое, дух робкий, казалось, так и замрет. Но когда крикнул казенный бирюч Васька Кичкин охотников ловить большого зверя носорукого, у которого рука на носу, сам себе дивясь, явился в приказную избу. Шмыгал носом, преданно смотрел в глаза сыну боярскому Вторко Катаеву. Тот спросил пораженно:

– Дойдешь хоть в одну сторону?

– В одну точно дойду.

Сын боярский хмыкнул.

Понял, наверное, что надеется Микуня на коч кормщика Гераськи Цандина. Вот, дескать, в одну сторону сам дойду, а в другую – вернусь на коче. И Свешников сейчас тоже смотрел на Микуню, покачивая головой. Такой и про гуся бернакельского не знает и имени литовского не назовет.

Шли.

От острожка Пустого, где оставили заскорбевшего ногами сына боярского, шли по пустому, никого больше не встретили. Свешников фыркал, вспоминая: «Явится к тебе человек, назовется Римантас. Это имя для тебя – знак». А почему?

Морозом выпирало воду из трещин, гнало по льду рек. Что-то страшно ухало, булькало на перевалах. Обмерзали растоптанные сапоги-уледницы, схватывались хрупким ледяным чулком. Уставали, протаптывая узенькую тропу в глубоких снегах. И все равно самое тяжкое – караулы.

Ночь.

Прокаленная Луна.

Белка прыгнет на ветку, бесшумно осыплет сухой снег.

От кого сторожиться? Зачем? Тут и людей никаких нет. Только над головой света разгул – пламя, лучи, огнистые стрелы. Христофор Шохин дернет ужасным вывернутым веком, заберет в кулак бороду, намекнет: юкагире! Это в небе костров их отблеск. Пугал: писаных рож так много, что когда зажигают костры, все небо начинает светиться. Белая птица летит над кострами, в час делается черной от дыма. Ужасно объяснял: у писаных по щекам, по лбу, по шее – черные полоски, точки, кружочки, за то их и прозвали писаными. А ядь – мясо оленье да рыба, ничего другого не ведают. Ну, разве иногда ядят друг друга. Гость придет, угостить нечем, вот и закалают к обеду детей, а иногда самого гостя. Шел ты в другое место, а пришел к нам, умно рассуждают, значит, ты и есть наша пища. Невелики ростом, плосколицы (вож презрительно косился на Лоскута, почему-то не терпел Гришку), но стрелять из луков весьма горазды – тупой стрелой издалека бьют соболя.

Еще, пугал, живет в сендухе такая самоядь: вверху рот на темени. Эти совсем не говорят ни слова, а если мяса хотят поесть – крошат под шапку. Егда, пугал, имать человека ясти, тогда плачуть и рыдають, так жалеють его. И совсем не знают боязни, потому как постоянно жуют вяленое сердце деда сендушного. Пожують, пожують, и еще пуще, чем прежде, распаляются.

Ураса заснежена. Под пологом дым – ест глаза.

А еще Шохин моргает ужасным красным веком и говорит страсти.

Конечно, казаки кто как. Кто перекрестится, кто сплюнет. Только Федька Кафтанов, румяный, придвинется, слушает зачарованно. Нет-нет да переглянется особенным взглядом с дружками – с Косым и Ларькой.

– Ты про носорукого расскажи, – сбивал вожа Свешников. – Как имать такого?

– Да еще и стеречь потом! – заранее пугался Микуня.

– Встречал ли сам?

– Сам не встречал, – моргал вож веком. – А писаные рассказывали. Они все видят в сендухе. Вот выйдем на них, укажут след, выведут в нужное место. Называют искомого зверя холгут, а иногда – турхукэнни.

– Как понимать такое?

– Ну, вроде корова. Только земляная.

– А почему корова? Вымя есть? Почему земляная?

Шохин неопределенно пожимал плечами, казаки переглядывались.

Не малые дети, всякое видали. Некоторые добирались чуть не до чюхоч, на краю земли кололи морского зверя железными спицами. Но чтобы земляная корова… Качали головами.

А вож продолжал пугать.

Вот видел след в сендухе. Не рассказывали, а сам видел.

В ширину – аршин, рядом груда помета и дух – самый непристойный, сладкий.

Но самого зверя не встречал, качал головой Шохин, прятал в ладонях страшное лицо. Наверное, редок зверь. Может, в сендуху занесло при потопе – очень старинный зверь. А может, просто взялся перепить реку Большую собачью, да лопнул. Подтверждал угрюмо: вот выйдем на писаных, они укажут след.

Вдруг вспомнил, что якуцкого промышленного человека Степку Никулина такой старинный холгут метал через ледяной бугор. Булгуннях, есть в сендухе такие. Степка с той поры дома сидит. Все болеет и жалуется. А еще, вспомнил вож, некоторые юкагирские князцы прямо похваляются: вот де у них шаманы катаются на земляной корове. Поедят особенной толкуши – кореньев, ягоды, рыбьей икры, пожуют сушеного мухомора и айда в сендуху кататься на холгуте.

Свешников задумывался.

Это правда. В Якуцке в питейной избе всякое можно услышать. Но есть ли такой зверь? Может, мечта одна? Кости холгута Свешников сам держал в руках – тяжелые, темные, бла-

городные. Но некоторые говорят, что кость подземной коровы растет как бы сама по себе. Летом оберешь полянку, а через год снова усыпана костями.

Внимательно присматривался к казакам.

Набирай людей сам, от некоторых бы отказался.

К примеру, зачем в отряде Микуня? Хорошо, если правда дойдет хотя бы в одну сторону. Или Косой? Тот все свое какое-то подсчитывает в уме. Такой про гуся бернакельского никогда не слышал. Или Федька Кафтанов – жаден, о звере не думает. Как бы в шутку предложил однораз: на кой ляд нам зверь старинный? Да от него и пахнет, наверное. А мы найдем писаных и возьмем на себя ясак.

Свешников вздыхал: набирай сам людей, взял бы Гришку.

Мало что беглый, зато из тех, кто скучает покоем. Как парус на мачте-щегле, полон собой лишь в бурю. Синие глаза всегда настороже, ноздри дерзко вывернуты, глубоко можно заглянуть. Правда, ждать от него литовского имени трудно, тем более, крикнуто в Якуцке государево слово на Гришку Лоскута: он воеводу Пушкина в бунте казачьем брал за груди. Правильно говорят: ум у казака есть, а благоразумия ни на полушку. Когда-то в Москве на глазах у Гришки зарезали его отца пьяные литвины. (Значит, может знать нехорошие имена!) В драке Гришка жестоко искалечил двоих, третьего прибил до смерти, пришлось сойти в Сибирь. Просился на новую реку Погычу с Иваном Ерастовым, но и самого Ерастова не пустили: перешел Ивану дорогу казачий десятник Мишка Стадухин. Ерастов заворовал, устроил бунт. Гришка, по природной горячности, шумел, может, громче всех. Но Ерастов увел бунтовщиков в Нижний собачий острожек на Колыму. А Гришка отстал. По хмельному, по неразумному делу сильно куражился над известным торговым человеком Лучкой Подзоровым.

Потом одумался, ударился в бега.

Плутал в глухом лесу. На снежной тропе наткнулся на отряд сына боярского. Пал в ноги сыну боярскому Вторко Катаеву:

«Возьми!»

Сын боярский, зная правду, гневно топал ногами на Гришку:

«Вор! Вор!».

Но Лоскута взял: крепкий телом. Может, тем спас от близкой виселицы. Такой, конечно, про бернакельского гуся не слышал, зато будет искать зверя. Да и путь у него теперь один – вернуться с удачей. Удастся привести носорукого, воевода Пушкин многое простит.

Или Ганька Питухин.

Этот – полуказачье, новоприбранный. «Явится к тебе человек, назовется Римантас». Усмехался: Ганьке этого не понять – прост. Зато горазд носить тяжести, торить тропу в снегах.

А зверь…

Ну, что зверь?

Найти бы яму, чтобы загнать зверя.

Только где такая яма в сендухе? В каменных вечных льдах даже могилу не вырубишь.

А была бы яма, тогда просто. Загнали бы в нее носорукого, морили голодом, пока сам бы не попросил еды. Ослабшего отвели бы на коч кормщика Герасима Цандина. Рекой и морем, и снова рекой – в Якуцк.

Оттуда своим ходом – до Камня.

А там Москва.

Боярин Морозов Борис Иванович, собинный друг царя Алексея Михайловича, знает все государевы слабости: и рыб, и соколиную охоту, и интерес к живым диковинным зверям. Тех зверей отовсюду с Руси свозят в государево село Коломенское. Всякие там есть, но нет такого старинного. Даже неистовый Никон, посвященный в архимандриты, каждую

пятницу наезжает к заутрени в придворную церковь, чтобы подолгу беседовать с государем о диковинных зверях, обитающих в разных сторонах Руси.

Алексей Михайлович, царь Тишайший, прост.

Он и богомолец усердный, и постник, и людей рассуждает в правду – всем поровну. Рассылает корма убогим, всячески вспомоществует, а вечером и в непогодь забавляется в Коломенском сказками бахарей – слушает про глубокую старину, томится и думает о державе. Необъятна держава, зыбки ее мысленные пределы, даже непонятно, где она кончается на севере, где на востоке? Вообще, как такую пространную державу держать в руках?

Приведем носорукого, думал про себя Свешников, царь обрадуется:

«Да что за такой зверь? Да почему с рукой на носу! Откуда такой невиданный?»

Удивится, впадет в сильное изумление. Потрясенно обратится к собинному другу:

«Кто такого привел?»

Боярин Морозов охотно ответит:

«Казак Степка Свешников».

«Почему не слыхал о нем?»

«А скромен, – пояснит Борис Иванович. – На глаза не попадается, далеко служен. Бывало, и воровал, – намекнет легонько, – но вины давно загладил».

«Просит чего?»

Вот тут Свешников и попросит.

Шли.

Собачки хорошо тянули.

Собачья упряжка легко несет трехпудовые сумы да уметный неприкосновенный запас. Олешки тоже хороши в работе, но, устав, норовят лечь, а собачки, даже выбиваясь из сил, будут тянуть до края. Запуржит, завьет дымом снег, олешки полягут, не подымешь, а собачки до конца будут тянуть на неприметный дымок. А олешкам что? Они сендушные дети. Им нет дела до человека.

Впрочем, Свешников на собачек смотрел хмуро. Случалось, снились ему собачки. Тогда просыпался со стоном, пугал казаков. Приподнимался на локте, стряхивал с себя заячье одеяло.

Шли.

На привалах прихлебывали кипяток на шиповнике.

– Без благовести и крыночку не поставить, – нарочито громко жаловался Микуня Мочулин. – Нечистая сила враз чувствует слабину. Это всегда так. Меня много раз дразнила.

– Ну?

Получалось, что Микуне всегда не везло.

Например, на Камне в Ильин день пошел в лес.

Не надо ходить в лес в Ильин день, знал это, а пошел. Издали заметил большую черемуху, всю в ягоде, ну, подумал, оберу. А когда человек идет вот так без всяких сомнений, нечистая сила вокруг скопляется. Микуня идет, идет, а чудно в природе, и не приближается к нему черемуха.

– Это лешак тебя водил, – знающе кивал Федька Кафтанов.

– Зато здесь пусто. Никто не будет водить, – предполагал Микуня.

– Ты что! – возражал Кафтанов. – И тут свой лешак.

– А почему ж пусто?

– Да он проиграл в кости свое зверье. И птиц, и зверей. Вот и нет никого, и самому стыдно, прячется.

Гришка Лоскут, раздувая ноздри, интересовался:

– А коли поймаем зверя, *всем* какая выйдет награда?

– Ну, такая, что хочется ее. А тебе, Гришка, особливая!

Караульный, заиндевев, заглядывал на шумный смех в слабо освещенную костерком урасу.

– Тебе особливая выйдет награда, Лоскут. Возьмут тебя писаные за пушистый хвост.

Микуня мечтал:

– Печь умею пирог морковный. У него дух!

– Да ну, дух! – презрительно кривился Косой. – Это ты, Микуня, никогда не пробовал моего винца! Вот где был дух! Народ завсегда оставался доволен, я проницательное винцо курил. Чарку примешь, всю ночь не спишь. А уснешь, диковинные сны тревожат.

Елфимка, сын попов, напоминал:

– Чарка – в жажду, чарка – в сладость, чарка – во здравие. Все остальное – в бесчестье, в срам.

– Я больше не предлагал, – отворачивался Косой.

– А я предлагал!

Сразу поворачивали бородатые лица.

– А я предлагал, – хмуро повторял Шохин, ужасно моргая красным вывернутым веком. – Было, на реке Яне схватили дикующие меня и Михалку Цыпандина. Он потом на Ковыме утонул…

Из рассказа Шохина получалось, что дикующие, выскочив внезапно, уперли копья в грудь казаков. А было у них богато – две пищали на двоих, правда, порохового зелья ни грамма. Потому их и схватили.

Шаман Юляду, худой, как оленья жила, сказал, бия в бубен:

«Вот каких странных людей поймали! Вот пусть десять дней живут, нам от того удача будет!»

Шохин будто бы удивился:

«А потом? Ну, через десять дней? Там дальше пойдем?»

Шаман Юляду тоже как бы удивился. Сухие человеческие кости подержал над огнем.

«Нет, однако не пойдете. Потом убьем».

Мишка Цыпандин обречено махнул рукой:

«Ну, ладно, твоя правда, Юляду. Ну, пусть десять дней. Все равно все божии. Только не притесняйте нас. Дайте сараны, нарвите сладкой травы, поставьте железные котлы, приготовим для вас невиданное угощение».

Дикующие спросили шамана:

«Можно?»

Шаман человеческие кости подержал над огнем, разрешил.

Дали казакам сарану, у нее стебли с лебединое перо, снизу красные, сверху зеленые. Михалка Цыпандин смешал сарану со сладкой травой, что похожа на русский борщевник. А корень сладкой травы – толстый, длинный и разделен на много частей, негромко объяснял Шохин, не сводя глаз с бледных огоньков в очаге. Наверное, видел в огоньках что-то свое, невидимое. Снаружи такая сладкая трава желтоватая, а внутри – белая. На вкус сладкая и пряная, как перец. Мишка Цыпандин аккуратно нарезал много стеблей, соскоблил с каждого тонкую кожицу раковиной и вывесил на солнце. Когда трава завяла и покрылась сладкой пылью, положил в травяной мешок. Сок этот столь силен, что кожа горит на руках. Поэтому, когда кусаешь сладкую траву, губами ее не надо трогать, пробуешь на один зуб. Я, сказал Шохин, не выдержал, говорю:

«Брось, Михалка улещать дикующих, нам бежать надо».

А Цыпандин говорит:

«Ты не торопись, Христофор. Ты лучше снимай стволы с пищалей».

«Как так? Это же государево оружие».

«Ну, государь далеко, а дикующие рядом».

Шохин после этого переспрашивать ничего не стал, ловко снял стволы, а Михалка сложил сладкую траву в воду, заквасил с ягодами жимолости и голубики. Тогда крепко закрыли сосуд, завязали, поставили в теплое место. Прошло несколько времени, этот сосуд стал дрожать. Стал покачиваться, извергать небольшие громы, клекотать, как кипящая вода. Пришел шаман Юляда, сбежались дикующие.

«Тот шум в сосуде? Он что предвещает?»

Шаман качал над огнем человеческие кости. Показались легкими. Сказал:

«Так думаю, хорошее предвещает. Вот каких интересных поймали людей! Когда убьем, их кости высушу, шаманить буду».

Осталось три дня до смерти, дикующие готовиться начали к веселому.

Но Михалка тоже готовился.

Он обретенную брагу залил в котлы и плотно закрыл деревянными крышками. А вместо труб вмазал стволы от государевых пищалей. Прямо в утро последнего дня объявил шаману:

«Вот, Юляда, вкусная вода. Необычная, веселящая. Сейчас пить будем, радоваться будем. Потом нас убьете».

Первым попробовал шаман Юляда. Сразу стал веселым. Стал весело разводить руками, потом упал, посинел. От такого вина всегда происходит сильное давление на сердце, потому и называют давёжным. Сильное, вредное для здоровья вино, кровь от него сворачивается. Но веселящее.

Дикующие посмотрели, как шаман веселится, сами стали пить. Стали весело разводить руками. Потом, как шаман, упали.

Шохин сказал:

«Ну, Михалка, бежим?»

Цыпандин стал смеяться:

«Да ты не торопись, Христофор. Я свое вино знаю. Дикующие долго пьяными будут. Проснутся, выпьют простой воды и опять захмелеют. А мы пока соберем нужный припас в дорогу. Отдыхать будем. С дикующими женщинами спать будем».

Так и поступили. Три дня жили с женщинами, собрали припас. Всего в дорогу собрали. А если какой дикующий просыпался, тому не жалели веселящей воды, Пейте, только спите.

Потом ушли.

– А стволы пищалей? – спросил хозяйственный Ларька.

– А что стволы? Мы могли жизнь оставить. Унесли, конечно, стволы.

Казаки посмеялись.

– Вот приведем носорукого, воевода, правда, даст награду?

– А как без этого? – кивнул Лоскут. – Свешникову, как передовщику, выйдет, наверное, боярское жалованье.

– Это сколько же? – прищурился Кафтанов.

– Ну, если настоящее боярское, – неторопливо подсчитывал Ларька. – Тогда, значит, так. На душу – двадцать четей ржи. Столько же овса. Да три пуда соли. А в чети – четыре пуда двадцать три фунта ржи.

Оглянулся на Свешникова:

– Вот как нынче везет человеку.

Хозяйственно, руки складывая на груди, спросил Шохина:

– За котел красной меди, Христофор, что писаные дают?

– А сколь войдет в тот котел собольих шкурок, столь с них и бери.

– Так много же! Не дадут.

– А без котла какая жизнь? Им зверька не жалко. Они собольи хвосты в глину замешивают, когда строят полуземлянки. Для крепости.

– А в Москве, – хозяйственно прикидывал Ларька, – за доброго соболя можно выручить до пятнадцати рублев. А домик купить – за десять. И овца по десяти копеек.

– Вот-вот, – неодобрительно косился Елфимка, попов сын. – Богатии обнищают, а нищии обогатеют.

– Рот закрой, наглотаешься дыму!

И Шохин подтверждал:

– Здесь сендуха. Много добра.

Странно намекнул:

– Знал одного горячего человека. Ухо у него всегда топырилось. Когда-то ходил в подьячих, привык закладывать за ухо перо. Собрал ватажку и самовольно, без царского наказа, ушел далеко. Говорили, что на реку Большую собачью. Сильно хотел разбогатеть.

– Ну?

– Ни слуху, ни духу.

– Ты это про Песка? Про вора Сеньку Песка? – в глазах Лоскута вспыхивал тайный интерес. – Куда он ходил, знаешь?

Шохин ужасно подмаргивал:

– Никто не знает. Не сыскал тот Сенька пути.

Свешников про себя дивился: «А чего Шохин сердится? Чего ему тот вор? Зачем вспомнил, зачем говорит горячо? Может Шохин назвать однажды нехорошее имя, помянуть бернакельского гуся?»

А разговор в урасе нисколько не утихал:

– Крупного надо брать! За крупного зверя награда выйдет крупнее!

– Ну, крупного! Ну, даже возьмем! А как кормить да стеречь такого?

– Да и как брать крупного? – по делу вмешивался Михайлов. – Может, напугать! Гнать по насту?

– Он бабки пообдерет.

– Ну и хорошо. Станет смирный.

– А если яму выдолбить? – мучился Микуня. – Если выдолбить яму, чтоб зверь ввергся в нее?

– Да какая яма в сендухе? – сердился вож. – Копни на палец, сплошной лед. Писаные покойников не прячут из-за этого.

– Куда ж девают?

– Подвешивают к деревьям.

От вожа несло жаром, силой, чесночным духом. По свернутой набок роже видно, что драл его не только медведь. И про вора Сеньку Песка, наверное, вспомнил потому, что запомнился ему чем-то вор. Опытный человек, много знает. Плавал по Лене, ставил первые зимовья в низах Большой собачьей. Громил олюбенского князца Бурулгу. Тогда на русский острожек, где отсиживался Шохин со товарыщи, каждый день бросалась шумная толпа самояди. Отбили нарты с припасами, многих ранили. Кого в лицо, кого в руки. А Шохина – в ногу.

– Шли по сендухе двое писаных рож, – вдруг вспомнил, моргая ужасным веком. – У одного табак, у другого ничего. Один дым пускает, другой просит: дай! Первый засмеялся, не дал. Оно, понятно, обида. Другой не выдержал, ткнул товарища ножом. Пришел к русскому зимовью, показывает кисет с табаком. Я спрашиваю: откуда у тебя? Он жалуется: да вот

отнял у товарища. Очень много товарищ имел табаку, жалуется, а мне не дал. Ну, ткнул ножом жадного.

– А ты? – замирал Микуня.

– А я что? Я всегда по справедливости, – отворачивал лицо Шохин. – Я успокоил писаного. Я ему сказал: это не ты ткнул ножом. Это собственная жадность ткнула твоего товарища ножом.

От смеха с урасы ссыпался снег.

Смеялись по разному. Попов сын – в ладонь, смущенно. Ганька Питухин – в голос. Ржал, ровно конь. Микуня мэмекал, как олешек. А Косой да Кафтанов, те даже присвистывали от веселья. Ну, рожи писаные, смеялись. Ну, глупый народец!

– А какие они? – спрашивали.

– Душой – простые, – помаргивал вож. – А шаман носит при себе зашитые в мешочек человеческие кости. Иногда другого умершего шамана, иногда просто так. Бросает сало в огонь, от него дым идет. Качает над дымом мешочек с костями. Если кости тяжелые, значит, плохой ответ, значит, не начинай задуманного. А если кости легкие, смело начинай.

Рассказал:

– Я многих дикующих привел к шерти, к государевой присяге. Рассеку живую собачку напополам, размечу надвое, и пускаю самоядь в промежуток. Они должны при этом пить кровь, метать землицу в раскрытые рты. И обещают мне через специального толмача: вот коль не станем всем животом служить великому государю, тогда твоя палемка пусть рассечет нас, как ту собачку. А кровь, кою пьем, зальет нас. А земля, которую мечем в рот, совсем задавит.

– Верят?

– Еще как! – отворачивался Шохин. – А то ведь не прикрикнешь, совсем ясак не понесут. А ясак не понесут – воевода совсем пустой останется. А воевода пустой останется, нас будет драть.

Рассказал и такое, что в сендухе будто бы живет чюлэниполут – старичок сказочный. Совсем маленький, лысый, бегает босиком по ледяным озерам, оставляет следы пальцев в снегу. Если кто потеряется в сендухе, значит, съел того человека чюлэниполут. Дикующие из-за этого босоногого боятся сидеть на берегу озера. Считают, что может ухватить за бороду.

– Да какие у них бороды?

– Ну, за что другое.

Шли.

От Егорьева дня на утро Ганька Питухин и Лоскут выгнали на наст лося.

Тяжелый зверь проваливался, рвал жилы о ледяные закраины, искровянил снежную поляну, но людей к себе не подпустил. Вгорячах Митька Михайлов выловил с нарты пищаль. Старинная, колесцовая, по ложе вязью выписано: «*Яковлевы ученики Ванька да Васюк*». Митька, торопясь, специальным ключом завел стальную пружину. При обратном вращении колесико шаркнуло о кремень, воспламенился порох на полке.

Ахнуло.

Снесло пулей лосю полчерепа.

Густо запахло среди снегов сожженным зельем.

– Кто посмел? – выскочил на поляну вож.

Сгорбившись, как медведь, пошел на Михайлова. Тот, оскалясь, выхватил нож. Было видно, что пырнет человека, не задумается. Правда, Свешников успел бросился – разнял, отпнул ногой подвернувшуюся собачку. Удивился вместе с Митькой: да чего тут бояться? Совсем пустая сторона? Кто услышит тот выстрел?

Шохин злобно сплюнул и ушел в голову аргиша.

Пластая ножом сырую лосиную печень, Лоскут дразнил Косого:

– Ты лосиную печень ешь. Ты ее больше ешь. Это сильно помогает от зрения.

– Так это помогает, когда оба глаза, – не понимал насмешки Косой. – А у меня, видишь, один.

– А ты больше ешь. Может, вырастет.

Лось пришелся в самую пору. Мяса нисколько не жалели, но кое-что приберегли и в запас. Неясно, как там обернется дальше. Торопились до ледолома выйти на восточную сторону Большой собачьей. Только вож после Митькиного выстрела впал в большую угрюмость. «И чего боится?» – не понимал Свешников. Но знал, знал: без тайны ничего не бывает.

Горы вдруг отступили.

Траурные ондушки, помеченные ажурными черными шишечками, день ото дня становились мрачней. Утоньшаясь, разбегались в разные стороны. Уже не лес тянулся, а одна за другой отдельные рощицы. Потом вообще пошли только деревья. Но вож и здесь шел без сомнений. Приглядывался к распадкам, к ледяным буграм, уверенно указывал, куда следовать.

– Почем знаешь дорогу?

– Мне свыше дано, сердцем чую.

А сам нехорошо и быстро подмигивал:

– Вот подмечаю, Степан, ты собачек сторонишься, а?

– И что?

– Да так…

Протянул, ускорил шаг.

Но ночью, когда все спали, позвал:

«Степан!»

«Ну?» – шепотом отозвался.

«Слышишь? Шаги. Ходит за урасой кто-то».

«Правильно. Ларька ходит. Сегодня он в карауле».

Удивился:

«Чего боишься, Христофор?»

Вож ответил загадочно:

«Степан, ты богатым был?»

«Богатым? – удивился Свешников. – Нет, грамотным был. Всяким другим был. А богатым – не привелось».

«А я был. С незнаемых рек бедными не возвращаются».

«Где ж твое большое богатство?»

«Завороженным оказалось».

«Это как?»

Шохин промолчал. Но, почувствовалось, приподнялся во тьме на локте.

«Ты вот, Степан, идешь за зверем старинным, – зашептал. – Это как бы твоя мечта. Так и мое богатство…»

«Непонятно говоришь».

«Подожди…» – прижал руку к губам вож.

Хруст легкий. Но мало ли. Потом лиственница ахнула, как пищаль, в ночи. Наверное, лопнула от мороза. И снова легкий явственный хруст.

«Медведь?»

«Ты что? Зачем босоногому?»

Как ни хотелось, а сбросили заячьи одеяла, вылезли на мороз.

В смутном лунном свете, разбавленном морозом, увидели мрачную кривую ондушу. К ней привалясь, сладко дремал озябший Ларька, ничего не слышал.

– Чья стрела?

Шохин страшно захрипел.

Шапка сбилась, начал шарил пустыми руками по снегу.

А там, правда, стрела. Короткая и тупая – на соболя. С коротким костяным наконечником. Обычная стрела. Дикующие называют такие – томар. Они шкурку зверя не портят.

– Не наша стрела, Степан!

А то! Конечно, не наша! Может, вор Песок обронил, почему-то подумалось Свешникову. Проходил здесь когда-то и обронил. А теперь выдуло ветром.

– Не наша стрела, – хрипел Шохин. – На меня стрела!

– Окстись, Христофор? Ты соболь, что ль?

– Знак это!

– Да чей?

Шохин выпрямился.

Как бы пришел в себя.

Шагнул к дремлющему Ларьке. Жестоко пнул под живот обледеневшей уледницей. Бросался и бил ногой. Сперва шипел от злобы, потом молча.

Ларька упал, отполз в сторону.

Ночь.

Утром, переругиваясь, вязали собак к потягам.

Злой Ларька косился на мрачного Шохина. Вож о чужой стреле никому не сказал ни слова, Свешникова упросил молчать. Теперь помалкивал, подманивал олешков. Снег вокруг крайней урасы сильно затоптали, разгляди, где валялась та стрела? Пойми, кто потерял? Правда, за увалы уходил по снегу заметенный след. Может, прошел учуг, верховой олень. А может, и дикий.

Задержавшись, Свешников взглядом проводил аргиш.

В общем, ничего особенного вокруг – снег да снег. Бугор торчит ледяной, верх обмело. Ну, голая черная ондуша. Совсем ничего особенного. Обронить стрелу мог любой дикующий.

Потом кольнуло.

Почему на траурном деревце светлое пятно? Ондуша – дерево черное.

– Вот чудно, – сказал вслух. – Береста.

И правда, береста. Белая, без раковин, без зубцов. И твердым выдавлена по бересте извилистая долгая линия, совсем как река, повторяет ее изгибы. Может, и впрямь река, подумал Свешников. И какие-то крестики выдавлены. Какие-то приметные места обозначены. Вот чей чертежик? Писаный шел, оставил знак другому писаному? Или какой вор оставил след?

Стеснило сердце.

– Степа-а-ан!

Услышав крик, спрятал бересту в ташку, в поясную суму.

– Степа-а-ан!

– Ну, чего кричишь, Микуня? Зачем отстал от аргиша?

– Степа-а-ан, Христом-богом молю, не брось!

– Да о чем ты?

– Измаялся я, Степан. Вот держусь, вида не подаю, но вконец измаялся. Когда-то бабка-повитуха так про меня и сказала: этот неизлечим, потому как с младенчества. Теперь куриная слепота мучает.

– А зачем пошел в сендуху?

– Так соболи же! Мяхкая рухлядь! – заспешил, заторопился Микуня. – Я, может, последний раз в жизни вышел в сендуху. А у меня нюх. Прямо нечеловеческой силы нюх. Я чую, найдем богатого соболя. А соболь, он и перед слепым блестит. Прошу, Степан, слезно, не брось! В пути я слаб, верно, но на зимовье – лучший помощник. И очаг согрею, и пищу сготовлю.

Указал на след ушедшего вперед аргиша:

– Ты сам посмотри. Никакого одиначества в отряде. Идут вместе, а на деле у каждого свое. Кафтанов даже не стесняется уже нашептывать, что никакой зверь нам не нужен. А Шохин сам смотрит зверем, как бы не бросился. Сердцем чую, Степан, худое случится.

– Не каркай.

– Не буду. Только не брось меня.

– Обещаю, – подтолкнул Микуню. – Иди.

Проследил, как кинулся по лыжне Микуня. Покачал головой, не любил пророчеств. А ведь Микуня не знает ни про стрелу томар, ни про бересту на ондушке. Может, правда, крадутся за отрядом писаные рожи?

И без того холодно, а от таких мыслей вообще мороз.

Прав Шохин, решил. Нужны караулы.

Глава II. Первая смерть

ОТПИСКА ДЕСЯТНИКА КАЗАЧЬЕГО АМОСА ПАВЛОВА В ЯКУТСКУЮ ПРИКАЗНУЮ ИЗБУ ОБ ОТПУСКЕ С РЕКИ БОЛЬШОЙ СОБАЧЬЕЙ СЫНА БОЯРСКОГО ВТОРКО КАТАЕВА.

Государя, царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии стольнику и воеводе Василию Никитичю Пушкину да Кириле Осиповичю Супоневу да диаку Петру Стеншину десятничешко казачий Амоско Павлов челом бьет.

Во нынешнем во 155-ом году посылан тобою сын боярский Вторко Катаев на реку Большую собачью, где людишки живут юкагире, там же род свой, рожи писаные.

Из Якуцкого острога ушед, путь одолев немалый, много он, сын боярский Вторко Катаев, ногами заскорбел. В острожек Пустой придя, подал челобитную. В челобитной той сказано, что немощен он теперь, скорбен и государевы дальния службы служить не может.

И яз, Амоско Павлов, десятничешко твой, со служилыми людьми досматривал сына боярского – он немочен.

И яз оставил его при острожке ждать открытых путей, а буде те пути откроются, с сыном боярским ясачный збор, казну соболиную отправлю в Якуцк.

А для государевы дальния службы, для приска и для приводу под государеву высокую руку людишек рож писаных, и для сыска и приводу зверя большого носорукого, у него рука на носу, яз, десятничешко твой, разумением своим поставил передовщиком служилого человека казака Степку Свешникова, коий выслан в Сибирь с Москвы и переведен в Якуцк по енисейской отписке.

А с ним ушли в сендуху:

казак Ларька Трофимов, отец у него из гулящих,

казак Микуня Мочулин, пришел в Якуцкий острог гулящим, поверстан в пешую казачью службу,

казак Косой, ссыльной человек, прислан с Москвы с отцом своим Ивашкой Косым за многие винные и табашные провинности,

казак Федька Кафтанов, а отец у него из гулящих людей в службе,

казак Елфимка Спиридонов, попов сын, а выслан настрого в Якуцк за описку в титле государевом,

казак Ганька Питухин, переведен в Якуцк по илимской отписке,

казак Митька Михайлов, прозвищем Ерило, уроженец томской, сослан с Томска в Якуцк с отцом своим Данилой Михайловым за известный тот томский бунт,

вожатый – промышленный человек Христофор Шохин.

Да просил он сказать, сын боярский Вторко Катаев, что которые людишки самовольно не схотели итить в те дальние государевы службы, как Гаврилка Фролов да Пашка Лаврентьев, тем, коли явятся, никакова

государева жалованья не давать и ждать до тех пор, как их сотоварыщи не придут со служб дальных.

К сей отписке яз, десятничешко твой Амоско Павлов, руку приложил.

Шли, дивясь безлюдию, смутной мгле.

Помнили: людишек ядят рожи писаные. Гость придет – ребенка в котел, а то и самого гостя. Некрасивы, сердиты, ростом не вышли. Хоть что с ними делай, дикуют.

Шли.

Вож спал теперь в глубине урасы.

Не у входа, как раньше, а в самой глубине, у костерчика.

Жаловался: вот усталость ломит кости, у огня поспособнее. Ведь кто, как не он, чаще всех идет в голове аргиша?

Еще вчера теснились вокруг ледяные горы, а вдруг страна начала выравниваться.

Поредели темные лиственничные островки, сухие ондуши торчали уже совсем раздельно, будто кто специально развел деревце от деревца. Снег поблескивал как глазурь, празднично. Охромел, порезавшись о наст, коричневый оленный бык, смирный, как русская корова. Быка перевели в хвост аргиша. Дело простое – пойдет в котел.

Шуршишь лыжами, думаешь.

Свешников вздыхал: непонятно.

Сперва ссеченная железом ондуша. Потом чужая стрела, берестяной чертежик. Так и правда выйдет из-за куста человек, назовется литовским именем. Земля здесь не мерянная, застав нет.

Шуршал лыжами.

Ночью казаки храпели.

Сердился, бил ногами под одеялом Ерило.

Цыганистый, намотавшийся, видел, может, во сне городишко над Волгой, тот самый, в котором впервые узнал, что страдать можно по напраслине. Попал там на ярмарку. Квас разный, понятно, винцо, веселые медведи боролись, посередине стоял столб, смазанный салом – наверху новые сапоги. Ерило ловко лез по столбу, но когда протянул руку к сапогам, снизу указали: вон, дескать, тот цыганистый кур таскал со дворов!

Чистая напраслина, а взяли в батоги.

Теперь дергается во сне, вспоминает прошлое.

Такой не запомнит гуся бернакельского. Он и обид-то своих почти уже не помнит, простая душа. И уж лучше его терпеть, чем слушать вечерами распалившегося Косого.

У Косого одно.

Соболь-одинец. Соболь в козках (шкурка целиком снята с лапками и с хвостом). Соболь непоротый! Неустанно напоминал, что за шкурку хорошего одинца, коему пару не подберешь, можно выручить до пятнадцати рублев!

Сразу до пятнадцати!

Слышал, конечно, государев указ, в коем каждое слово дышало строгостью. «*Сибирских городов служилые люди ездят и мяхкой рухлядью беспошлинно торгуют. Сибирским тем людям настрого мяхкой рухлядью торговать не велеть. А будет кто торговать, имать их товары на государево имя, а самих за ослушание бить батогами жестоко, бросать в тюрьму*». Слышал, конечно, но думал все время не о носоруком, а о соболе.

Вот соболь.

Зверок радостен и красив, и нигде не родится опричь Сибири.

А красота его придет вместе с первым снегом и опять со снегом уйдет.

Наслушавшись Косого, даже Елфимка Спиридонов, попов сын, вспыхивал глазами. Вот, дескать, Преображенский монастырь, тот, что в Тюмени, поставлен не просто так. Старец Нифонт, чистый сердцем, много лет собирал в народе всякую денежку, хоть совсем малую, и поставил тот монастырь на краю острога в ямской слободе. Угодий своих не было, земли не было, на пропитание никакой ежегодной руги не было, да воопче ничего не было – смиренные старцы при монастыре питались тем, что подадут жители.

А монастырь по сию стоит, славится.

И он, Елфимка Спиридонов, человек богобоязненный и законопослушный, так задумал: взяв на реке богатых соболей, тоже поставит монастырь, светлую обитель. Он, сын попов, точно знает, куда и как определить будущую добычу. Его соболя – божьи.

Длиннолицый, редкозубый, борода в инее, поблескивал темными глазами. Уважительно вспоминал отца – попа Спиридона. Тот кабальным бежал в смутное время от одного коломенского злого дьяка. Думал, что навсегда, но судьбе виднее. Она распорядилась вернуть Елфимкиного отца через восемь лет в угодья все того же коломенского дьяка, только теперь настоящим попом, поставленным в сан рукою митрополита казанского и свияжского.

Коломенский дьяк освирепел, опознав бывшего беглеца. Пришлось переводить новопоставленного в Усолье. Ну, с отцом уехал и малый Елфимка – тихий, грамотный. Много помогал отцу, по его просьбе переписывал церковные бумаги, всякие казенные прошения. Одноразо по задумчивости («Братья, не высокоумствуйте!») сделал описку в государевом титле, за что нещадно был бит кнутом и выслан в острог Якуцкий.

Но Елфимка, ладно. Елфимку богатство не сгубит. В Якуцке к Елфимке быстро привыкли: подбирал пьяных на улицах, чтобы не замерзли. И в походе успел отличится. На каком-то привале Микуня Мочулин вышел утром из урасы и простодушно помочился рядом с оленными быками. Конечно, быки взбесились, сбили Микуню с ног, изваляли до сердечного колотья. Хорошо, услышал шум сын попов – вышел на крыльцо, спас убогого. Присоветовал на будущее: «Не дразни быков. Очень падки до всего соленого. Делай малое дело в стороне, затопчут».

Шли.

Косой, чем дальше от Якуцка, тем больше смелел.

Уже открыто выказывал личную приязнь к вожу Христофору Шохину, понимающе переглядывался с Кафтановым, шушукался с Ларькой Трофимовым. Не скрывал, что строит одиначество как бы не со всеми, а только с выбранными. Весь так и горел: какой, дескать, ты передовщик, Свешников? Если б Вторко Катаев не заскорбел ногами, то и сейчас вел бы отряд. А ты кто, Степан? Да ты совсем никто. Ты вот чем лучше Кафтанова? Да совсем ничем. Не находись на государевой службе, никогда бы не встал на место передовщика.

Ничего не боялся.

Чувствовал поддержку Шохина и Кафтанова.

Мы, дескать, Степан, идем не за носоруким, прозрачно намекал. Никто, дескать, не знает, существует ли зверь? Мало ли, что кости находят. В сендухе много чего находят. Например, грибы растут выше дерева. Сердился: ну, до чего пуст край! Зажигался: здешние писаные столько лет не платили государю никакого ясака, что враз весь взятый по закону ясак не вывезешь теперь даже на носоруком! Нам, Степан, загадочно намекал, ясак нести.

Свешников в спор не вступал. Пусть говорят. Это лучше, чем если бы помалкивали казаки да копили в себе неприязнь. А все равно на душе смутно.

Перед уходом в сендуху забежал в Якуцке к опытному человеку – казаку Семейке Дежневу, которого знал по прежним походам на Яну.

Дом Дежнева раньше стоял, как многие другие, на Чуковом поле. Но по весне Лена поднималась так высоко, что людям надоело каждый год спасать и сушить вещи, самим спасаться на лодках. В остроге в стороне от реки Семейка срубил новую просторную избу, в которой жил с женой – узкоглазой Абакадай Сичю, крещенной Абакай, с лицом круглым и желтым, как блин. А на голове у нее плат бумажный дешевый – по белой земле пятна чернью, по краям черные да желтые цветы.

Увидев гостя, метнулась ставить самовар.

– Что видел? Что слышал?

Свешников рассказал. Семейка невесело усмехнулся, встряхнул падающий на лоб чуб.

– Вот баба не понимает, – кивнул на жену. – Твердит одно и то же. Твердит, не уходи. А мне надо уйти. Я замыслил найти путь на Погычу. На новую богатую реку. Слышал? А баба, – кивнул в сторону прикрывшейся платом жены, – одно твердит. Дескать, так говорят только, что уходят на год или на два, все равно потом возвращаются через двадцать лет.

Тряхнул чубом:

– Не уходи, твердит. В Якуцке хорошо, твердит. Вот родимцы мясо принесут, полезную траву, вот еще много чего вкусного принесут. Совсем глупая баба! Плачет. А я и с дому еще не сшел.

– Чувствует, – усмехнулся Свешников. – Да и то. На кого оставишь?

– У нее родимцев много, – объяснил Дежнев. – Дядя есть по имени Манякуй. Не на пустом месте.

– Бабам всегда страшно.

– Бог терпел…

Дежнев посерьезнел, перешел к делу:

– Хочу отправиться в Нижний собачий острожек. Уже отправился бы, да Мишка Стадухин, любимчик воеводы, мешает. Меня ест поедом. Ведь вместе ходили не в близкие края, чего, казалось бы? А чванлив, горд, куражист. Всех клонит под себя. В Гриню Обросимова из одной только гордости стрелял в кружале из лука в большом подпитии. На енисейского сына боярского Парфена Ходырева из одного только непримиримого куража крикнул слово и дело. А я Парфена знаю, он простой человек. И Мишка знает, что Парфен – простой, все равно приметывается к человеку. Думает, что раз первый сходил на новую реку, раз первый увидел чюхчей, которые зубом моржовым протыкают себе губы, так сразу над всеми возвысился!

Сплюнул:

– Но всех обгонит!

– И меня? – засмеялся Свешников.

– А ты то что? Тоже куда уходишь?

– Разве не слышал?

– За носоруким?

– За ним.

– Ну, слышал. Не поверил. Говорят, подземный зверь. Говорят, где выйдет из-под земли на свет, там и гибнет. Потому торчат на полянках кости.

– Если живет под землей, то где проходы?

– А подмывают талые воды, рушатся.

– Да ты сам посуди! – заспорил Свешников. – Как такой крупный зверь забьется под землю? Там вечный лед, пешней не возьмешь.

– А у него рога. Он горячий.

– Нет, не может столь крупный зверь жить под землей.

Помолчали, слушая круглолицую Абакай.

Она вздыхала, плела какую-то вещь из веревочных обрывков.

Видно, что сильно не хотела отпускать Семейку. Выросла под северным сиянием, под огнем над снегами. Знала: везде опасно. Но только Семейка все равно знал больше, чем она, потому что успел послужить и на Яне, и на Оймяконе, и на реке Большой собачьей.

На последней, рассказал, рожи писаные живут по неизвестным речкам, кочуют по сендухе, охотно плодятся, охотятся, думают, что так в мире было всегда. Думают, что иначе и быть не может, что сендуха – это и есть весь обитаемый мир, нет нигде никакого другого – только мэкающие олешки, да птица кароконодо, да дед сендушный босоногий вдруг выступит из снегов. Иногда, правда, еще из снегов выступят русские. Тоже странно. Кто такие? Куда идут? Зачем?

Вот Семейка.

Вот Мишка Стадухин.

Вот Ерастов, Ребров, оба – Иваны.

Давно ли русские стояли на Енисее? Давно ли край державы проходил по Лене? А вот спустились из Жиганска на деревянных кочах бородатые люди енисейского казака Ильи Перфирьева и такие же бородатые люди тобольского казака Ивана Реброва. Достигнув устья Лены, по доброму согласию поплыли в разные стороны. Ребров на западе достиг загадочной реки Оленек, Перфирьев на востоке – Яны. Потом Мишка Стадухин, сгорая от нетерпения везде оказаться первым, добрался до рек Алазеи и Ковымы, сообщил о неведомом прежде народе чюхчах. А потом атаман Дмитрий Копылов заложил на Алдане деревянный Бутальский острожек, а енисейский казак Курбат Иванов ступил на каменистые берега Байкальского озера, учинив тому подробный чертеж. А томский казак Иван Москвитин после многих приключений перевалил обрывистые горные хребты и свалился на туманную Ламу, на берег моря Охотского.

После Ермака, считай, всего за полвека, отнесли казаки край державы на самый океан.

Года не проходит без новостей.

Так и снуют казачьи кочи между Якуцком и Колымским нижним острожком.

Недавно, например, явился письменный голова Василий Поярков, рассказал о новой реке Мамур. Та земля, оказывается, угожая, скотом и хлебом изобильна, еще рыбой, пушниной. Люди едят там не на простом дереве, а чаще на серебре. И ходят в тяжелых китайских шелках, делают плотную бумагу, добывают постное масло, которое куда как хорошо идет к огурцу. Там далеко можно ходить в походы и подвести под высокую царскую руку много новых сидячих людей, способных к пахоте, укрепить их в вечном холопстве.

Шли.

Свешников приглядывался.

С Елфимкой, например, бежал рядом.

Вот что знал он, сын попов? Ну, книгу «Октоих», в которой много красного цвету, да целые строки набраны красным. Да читал в храме часы. Да пел на клиросе по крюковым нотам. А храм, хоть и посвящен Софии, Премудрости Божией, совсем деревянный, маленький, его даже не расписывали никогда, потому что вдруг как пожар? Иконы из окна можно вытащить, а роспись дорогую?

Правда, главы побиты чешуей, поставлены на бочки, крытые лемехом.

Однажды послали Елфимку в Москву. Рылся он там в Овощных рядах, искал на Печатном дворе старые евангелия, псалтыри, минеи, молитвенники. Труд нелегкий, к тому же без всякого жалованья – без хлебного, без денежного. Томился малый, но все делал неспешно. Такой бы добрался и до бернакельского гуся, только никто такому себя не доверит. Добрый барин Григорий Тимофеевич точно бы не доверил. Вот набожен, а фыркнул бы, не сказал поповскому сыну литовское имя.

Идя рядом, Свешников спросил:

– Почему пошел за носоруким?

– А Вторко позвал. Сын боярский.

– Так сразу? Наверное, обещал что-нибудь?

– Всякое говорил. Говорил, не пустыми вернемся… Ефимка смутился. – Но ведь не для себя. У меня все – Божье…

– Ну, не знаю, что обещал сын боярский. Я ничего особенного не обещаю. Но если найдем носорукого, в накладе не останешься. От такого зверя даже в Москве могут наступить перемены.

– А Христофор говорит… – начал было Елфимка, но оборвал себя, насупился. Впрочем, и без особых слов было видно, что приобщают Елфимку к тайному одиначеству. Выдавил несколько растерянно: – А этот зверь… Он старинный, наверное?… Божье ль дело, ловить столь старинного зверя? Христофор так и говорит, что не про нас зверь этот. Говорит, чтобы к нему держались, тогда всем будет хорошо.

– А так бывает?

Елфимка строго поднял глаза:

– Должно быть. Даже всенепременно.

– Вот говоришь, божье ль дело ловить зверя старинного? – усмехнулся Свешников. – А брать ясак? А последнее тянуть с писаных?

– Не тянуть, – строго поправил сын попов. – Не тянуть, а брать законное. Они государю сколько не платят? А живут на государевой земле. Темные, некрещеные, совсем погрязли в грехах. Мы им глаза откроем. Жалко, что придем ненадолго.

– А вот тут ошибаешься. Куда приходим, там мы навечно.

Шли.

Небо серое.

Мрачные лиственницы.

На крутых подъемах олешки потупляли подрезанные рога, фыркали недовольно.

Как-то полдня шли звериной тропой. Но зверь не человек, зверю необязательно ходить прямо – тропа к вечеру вильнула, ушла в распадок. Поставили на чистом месте урасы. Свешников спустился к реке.

Продолбил пешней лунку. Поднялась со дна снулая рыба. Сонно стояла в холодной воде, сосала воздух.

– А вот не гляди в воду! Старичок схватит!

– Чюлэниполут? – Свешников легко запоминал чужие слова.

Шохин усмехнулся. Моргнул неправильным веком. Присел рядом на корточки, плюнул, целясь в рыбу, вышедшую подышать:

– Вот сколько лет живу, Степка, а понять никак не могу. Идем, идем неизвестно куда, а потом рыба навстречу. Зачем? Мы же ее съедим.

– Всех не съешь.

Помолчали.

– Нет, ты скажи, Степка, – Шохина явно что-то мучило. – Вот родился я, рос, ходил на дальние реки, стал вожем, живу. И рыба когда-то родилась, выросла в крупную, живет. Но я и рыба в отдаленности друг от друга. И пусть бы так всегда. Зачем судьба нас сводит?

– На все воля Божья.

– Ну, может, – нехотя согласился Шохин.

Такой мог бы знать литовское имя. Такой много чего мог бы знать. После ночи, когда нашли в снегу чужую стрелу томар, Шохин незаметно, но внимательно приглядывался к Свешникову. Держал что-то свое в уме.

Шли.

Зимний путь сушит.

На ходу воды не найдешь, все вокруг вымерзло, превращено в камень, а если встретишь выжатую на лед воду – такую ледяную все равно нельзя пить. Терпели, как могли, до ночлега. Зато в урасе неторопливо тянули кипяток, настоянный на ягоде, чаще на шиповнике.

Сил нет, как устали, но разговор.

Вож, например, сдержанно хвалил Ганьку Питухина: сильный человек, ловко идет, любой груз ему по плечу. Незаметно сам хвалился: он, Христофор, раньше был сильней. Он и сейчас в силе, но был сильней. Его, вожа Христофора Шохина, всякая сендушная самоядь прямо называла – *сильный*. По-ихнему – тонбэя шоромох.

Было, рассказал, взяли у самояди женку в ясырь. Ну, олешков там, всякую мяхкую рухлядь, мало чего оставили дикующим. Один почему-то сильно обиделся на Шохина, старательно обшил кафтан костяными пластинками, покачал над дымом легкие кости шамана:

«Вы, кости шамана, что скажете?»

Кости сказали:

«Убей англу. Убей у рта мохнатого. Убей тонбэя шоромоха».

Пришел вызывать, а Шохин говорит:

«Ты жилы не рви. Куда торопиться? Жизнь долгая. Садись у очага, отдохни. Выпей огненной воды, съешь вкусного. Потом будем драться».

Так и сказал: садись, пей. Огненная вода прибавляет сил, веселит сердце. Коли выпьешь сразу полную кружку – сильно изменишься к лучшему. Сил не было – сильным станешь. Трусом был – пойдешь с голыми руками на сендушного деда.

– А дикующий? – угодливо заглядывал сбоку Косой.

– А дикующий что? – моргал красным веком вож. – Конечно, выпил полную кружку. Ему тепло стало, хорошо. Он лег у костра довольный. На другой день драться не стал. Белок принес, песцов принес, сестру привел. Сказал: давай огненную воду. Сказал: еще хочу огненной воды. Дружить будем, другую сестру приведу.

Елфимка насупился:

– Грех!

И Гришка Лоскут почему-то обиделся:

– Тонбэя, говоришь? Шоромох?

И оскалился обидно.

Одно время Свешников бежал рядом с Гришкой. Лоскут жаловался:

– Тебе, Степан, что? У тебя все гладко. Ты, может, вернешься, в почете будешь. А мне?

– А не хватай воеводу за груди.

– Я один, что ли? Меня записали к Ивану Ерастову – на новую реку Погычу, а Ивана не пустили на реку. Отдал воевода Василий Никитич наказную грамоту не Ивану, как должно было быть, а любимчику своему – Мишке Стадухину. А нас, простых казаков, совсем прижал – жалованья не выдавал по году, да треть выворачивал на себя. Куда такое терпеть? Пятидесятник Шаламко Иванов, десятники Васька Бугор, Симанко Головачев, Евсейка Павлов – все сразу одинаково подступили к воеводе. А я вообще горяч. Ну, Васька Бугор.

Свешников усмехнулся:

– Не шлись на Бугра, живи своим умом. Я Ваську знаю. Он неистовый. Только у него все равно голова есть. Он после бунта пусть силой взял чужие суда, зато увел людей в Нижний острожек. А ты?

– А меня бес попутал, – насупился Лоскут. – Я не виноват. Есть в Якуцке торговый человечишко Лучко Подозоров. Держит лавку, дает под проценты в долг. Родственник богатых торговых гостей Гусельниковых. От него вызнал, что брат мой Пашка, по слепоте своей тайно сшел в сендуху с вором Сенькой Песком. Ушли в сендуху, и как их не было. А мне брата жалко. Да и кабалы братовы на меня перелегли. Ну, явился к Лучке, стал требовать правду. Для уверенности выпил крепкого винца. Лучку побил, опять же, для уверенности. Ну, он сказал. Прибейся, сказал, к отряду сына боярского Вторко Катаева, они в точь идут в те места, где пропал Пашка.

– Так и сказал? – насторожился Свешников.

– Вот свят! – перекрестился Лоскут. – У Лучки нет корысти загонять меня на тот свет. Он в обиде на меня, но все равно выгоднее, чтобы я вернулся. Коли вернусь с мяхкой рухлядью, понятно, расплачусь за брата. А коли сгину, какой с того толк?

– Поймаем носорукого – расплатишься.

– Ну, носорукий, – неопределенно протянул Гришка. – Кто знает о таком звере? Я на новую реку хотел уйти.

Пожаловался:

– В Якуцке тесно.

– Здесь не Якуцк.

– А мне и здесь тесно.

– От кого бежишь?

– Не знаю.

– Ну, хорошо. Ну, дойдешь до края земли, что дальше?

– А я и дальше пойду.

– В океан упрешься.

– Коч построю.

– Да куда?

– Не знаю.

Подумал:

– А разве за океаном ничего нет?

– А об этом я не знаю, – вздохнул Свешников.

И предупредил Гришку, шаркая лыжами по снегу:

– Ты о звере думай, а не о выгоде. Тебе сейчас правильнее – служить. Крикнуто на тебя в Якуцке государево слово, так что, удача тебе нужна. Вот так и считай, что носорукий – твоя удача. Вернемся без зверя, припомнят тебе все грехи, мыслимые и немыслимые. А приведем зверя, слово даю – отстою тебя. У кого угодно отстою, даже у воеводы Пушкина.

Лоскут не ответил.

Надвинул на лоб меховой капор, пригнулся, упрямо попер на ветер.

Свешников покачал головой. Не пошлет в сендуху беглого московский дьяк. Скорее сговорится с вожем, тот вольный.

Шли.

Ох, носорукий.

Ох, старинный зверь.

О таком часто говорят в питейных избах.

В питейных, известно, чем больше пьют, тем явственней слухи.

На первой чарке еще терпимо. Ну, вроде велик упомянутый зверь. Ну, вроде тяжел, сала на нем в три пальца, потому и не мерзнет на лютом холоду. А живет прямо в сендухе, считай, со времен потопа. Другие разные звери утонули, а носорукий, может, выплыл на какую ледяную гору. Отдышался, дождался спада воды, теперь мирно спустился в плоскую сендуху. Ходит по ягелю, оставляет след. На носу рука, хватает ею разные вещи.

На второй чарке рассказчик смелеет.

Правда, выясняется, что сам он никогда не видел носорукого зверя, но голос слышал. Громкий как труба. Или как большой охотничий рог. Такой голос услышишь, уже ни с каким другим не спутаешь. Ну, а если рассказчик сам по какой-то причине не слышал все-таки носорукого, то непременно знает одного или двух людей, испытавших такое. Скажем, на Мишку Глухого шлется. Мишка стал глухим как раз после встречи с носоруким. Где-то на реке Алазее. Или на Яне. Точнее и сам Мишка не помнит, потому как дикующие его недавно зарезали.

Но по-настоящему раскрепощает третья чарка.

Рассказчика пробивает пот, он становится доверителен, наклоняется к самому твоему уху. Он уже не говорит, а шепчет тайное: вот никому, дескать, слова не обронил, только тебе по дружбе!

И говорит. Всю правду, как на духу.

Вот, дескать, сам виноват. Вот совесть его мучает.

Так случилось, говорит, что встретил в сендухе старинного зверя. Никому не говорил, но тебе скажу тайное: удачным выстрелом из колесцовой пищали завалил зверя. Ударила пуля прямо в лоб. Наверное, посейчас лежит невинный зверь в ледяной сендухе, замерз на ветру, хоть сегодня забирай.

«Неужто лежит?»

«Обязательно!»

«Неужто убит выстрелом из пищали?»

«Из нее. Из простой колесцовой. Взята с казенки».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.